

Знания мои о родственниках по маминой линии, Беспрозванных, фрагментарны и, может быть, не всегда достоверны. Да и рассказывали о своей жизни не так часто и не так охотно. Насколько я помню, говорить о себе они начали в конце 60-х годов. Или не хотели беречь еще незажившее прошлое или просто боялись, что вполне естественно. Я, конечно, с интересом их слушала, но как-то не пропускала через душу. А теперь ни спросить, ни что-то уточнить не у кого... Поэтому кроме того, что осталось в моей памяти я позволю себе иногда использовать то, что было написано моим отцом – писателем Вадимом Макшеевым и напечатано в разных изданиях (далее выделено курсивом).

Выслали их из родного Прииртышского Большеречья в Васюганские болота в 30-х годах. Раскулачили... Да, они жили в относительном достатке в крепком доме. Но всё это благодаря постоянному и тяжелому труду главы семейства Дмитрия Семеновича и его жены Анны Васильевны. Дочки, а их было четверо, были еще малы, поэтому в страду нанимали в помощь работника. Мама мне показывала опись того, что, что было изъято. Домашний скот, орудия труда, крестьянский инвентарь, запасы продовольствия. Дали какое-то время на сборы, погрузили в сани и отправили на погибель. А всё, что было нажито, попросту растащили. Моей маме, самой младшей дочери, было всего четыре года. Мама много лет спустя побывала на родине. Ей рассказывали о том, что кому досталось. И даже плодородную землю сняли и увезли.

Они уже были на Васюганских болотах, когда Дмитрий Семенович с другими мужиками решил вернуться в родное село. Может быть надеялся, что они ни в чем не виноваты, что там разобрались и поняли, что ошиблись. Но это обернулось тем, что всех мужиков тут же арестовали и посадили, а семьи поместили в молеальный дом, а спустя год снова отправили в ссылку.

На этот раз они ехали уже не по зимнику, а в барже по реке. Судно было переполнено. Началась дизентерия, вся палуба была загажена, опралялись за борт, а у кого уже не было сил, там, где придется. Время от времени судно причаливало к берегу, выгружали умерших и тут же закапывали в братских могилах. Где-то там покоится и мамина прабабушка.

Высадили на высоком Васюганском берегу. Копали землянки и первое время в них и жили. Они не поумирали в первую же зиму только благодаря тому, что были привычны к тяжелому труду. Какие-то продукты им завозили, но этого было катастрофически мало. Бабушка рассказывала, как она выколачивала пустые мешки из-под муки и крупы и, разбавляя мерзлой картошкой и лебедой, пекла какое-то подобие хлеба.

Дмитрий Семенович

Вернулся Дмитрий Семенович из заключения спустя пять лет.



**Дмитрий Семенович
Большеречье, 1914 год**

Мама вспоминала: «Отца я чуть помнила – только серые глаза и усы, которыми он когда-то щекотал мое лицо. Иногда будто во сне вижу – стою на высокой кочке, кругом рыжее болото, вода, а он уходит. Это, когда он нёс меня, заблудился и пошел искать дорогу. А я плачу, боюсь – уйдет насовсем... В тот день мама таяла в огороде картошку. Помню, кто-то из женщин крикнул: «Аннушка, Дмитрий Семеныч твой приехал!». Бывало, раз в полмесяца пароход еще только где-нибудь далеко-далеко загудит, уже все спешат на берег, а в тот раз не было парохода, наверное, отец на попутном катере или паузке приехал... Мама таяку бросила, побежала, я – за ней. Спустились по ввозу, вижу – стоит на песке у воды. Высокий, простоволосый, в руке

котомка. Не помню, как они с мамой поздоровались, обнялись, наверное (тогда ведь не так, как сейчас, всё строже было, совестливей). Мама босая, и я босиком, пальтишко на мне линяло... Стою молчком. Отец спрашивает: «А это чья девчонка?» - «Так это же Шурка наша...» - Какая стала длинная, черная...» Не узнал.»

А до того прислал нам посылочку – маленькие кусочки хлеба, черные, замятые, как ириски. Возьмешь в рот, пососешь, только тогда чуть-чуть вкус хлеба почувствуешь. Наверное, от своего пайка отделял. Как он сберег, как сумел послать, не знаю. Сестры мои до сих пор вспоминают: «Тятечка из тюрьмы хлеба прислал». И как он там жил - не знаю, может быть, маме рассказывал, а мы, девчонки, не узнавали. Сейчас бы всё расспросила, а тогда не спрашивали. Трудно жил, и всё.»

Стал работать в колхозе. Пилил тес для кровель, метал сено, сеял зерно на пашне. За безотказность и сноровку все его уважали. И бранных слов от него никто никогда не слышал. Судя по единственной оставшейся фотографии он был очень красивым – русский, сероглазый с правильными славянскими чертами лица.

Надсаженный работой, был он уже очень болен, однако трудился изо дня в день, покуда болезнь его окончательно не свалила. Помер следующим летом в сорок шестом году. Рубаха у него была всего одна, и та заплатата на заплате, сменной не было. Завернули его жена и дочери во что-то, гроб на погост сами несли на руках. Коня председатель колхоза не дал, мол, лошади все за рекой, покос, сено надо метать... Мама тогда была на лесосплаве, что отец умер, узнала лишь два месяца спустя...

Анна Васильевна



**Анна Васильевна
Большеречье, 1914-1915 г.г.**

Ссылные жили сначала в Красноярске на высоком берегу Васюгана, а потом всех переселили в соседнюю деревню Мало-Муромка, колхоз «Магнитострой». В пятидесятых годах старшая дочь Клавдия уехала в Кемеровскую область, Мария с мужем – в Семилужки под Томском, вслед за ними подались и бабушка с Евдокией. Евдокия вышла там замуж за вдовца с пятью детьми. Купили бабушке половину домика, и стала она потом жить одна. Получала пенсию 13 рублей, которую выхлопотал ей папа, с трудом раздобыв необходимые документы, подтверждающие трудовой стаж. Когда мы бываем в Семилужках и ходим на кладбище мимо того места, где стоял домишко, каждый раз удивляемся, где тут, у подножья невысокой горы, размещался

двухквартирный дом, два огорода, постройки для скотины, небольшой дворик.

С десятилетнего возраста я все каникулы проводила в Семилужках и жила в основном у бабушки. Любила ее какой-то болезненной детской любовью. Почему-то боялась, что она умрет и непременно ночью, хотя было ей тогда чуть за 60. Частенько просыпалась и прислушивалась – дышит ли. В младенческом возрасте она меня, можно сказать, выходила. У мамы не было молока, бабушка заворачивала нажеванный хлеб в марлечку и совала мне в рот.

Прожила она до 83 лет и умерла на руках у дочерей в теплый майский день. Я тогда уже уехала после института по распределению в Белоруссию. Узнала о смерти бабушки из письма от родителей спустя неделю. Но именно в этот день 19 мая мое сердце почувствовало, что произошло что трагическое. По иронии судьбы именно в этот день в 1950 году поженились мои родители.

Евдокия

Тетя Дуся – вечная труженица. Наверное, не найти той крестьянской непосильной работы, которую ей приходилось делать - Пахала, боронила, на покосе работала, вытаскивала сети с рыбой из ледяной воды... И дояркой была. Доярки сами пасли коров далеко от дома. От жуткого гнуса только дымокур и спасал

«В войну и первые годы после войны работали в колхозе, считай, задаром, вечно в долгу оставались. Однако, к Октябрьской, али к Первому мая, бывало, кого и премировали. Больше Почетными грамотами, а когда и чем-то нужным. Гребелку однажды мне в премию дали, хорошая такая гребелка, костяная. В другой раз красну сатинову косынку дали. Не мне одной, а всем передовым бабам. Полушалок у меня в ту пору прохутился,

так я эту косынку вместо заплаты сверху на полушалок пришила. Все зимой голове-то теплей.

В начале декабря, как только проторят зимник, районное начальство по всем колхозам разнарядку шлет, сколь сезонников на лесозаготовки надо отправлять. Валить лес девок и молодых баб посылали, а вывозить из делян сутунки на плотбище отправляли мужиков. А я к работе на лошадях была привычна, так тоже мужицкую работу выполняла.

Как-то приходит мне из дому письмо, мамонька печатными буквами пишет, малограмотная, письменных букв не знала: «Описали за неуплату налога самовар, постель и картошку в подполе. Ежели пятьсот рублей вскорости не пришлешь, всё отберут...» У меня заработанных двести рублей было, да и те долго не отдавали... Пошла к мастеру Христом Богом просить. Говорит: «Ступай на сплотку, там больше заработок». Пошла на плотбище. Жилы вытягивала, того и гляди все в нутре оборвется, кисти рук пообморозила, кожа полопалась. Послала мамоньке пятьсот. А то бы картошку из подпола выгребли, хоть ложись и помирай.

Когда к весне сезонников с лесоучастка по домам отпустили, мне пять метров миткаля за ударную работу выдали. Привезла этот отрез домой, ночью не могу уснуть, все думаю - какую обнову сшить. Можно платье, а ежели сарафан, то еще и на кофтенку останется... Слышу, мамонька меня с печи окликает: «Дуська, а Дуська, ты пошто не спишь?» - «Радуюсь, мамонька, думаю какую себе обнову сшить...» - «И я не сплю, - говорит, - за тебя радуюсь».

А на второй год после войны мне медаль дали. В мае земля еще путем не прогрелась, так я калоши на босу ногу обула. Шахтерские, или как их еще называют. Большуши, рваны, я их бечевкой приоткнула, чтобы с ног не сваливались. Дело к вечеру, кони пристали, и у меня уже сил нет за плугом ходить. А тут в аккурат Арсентий, председатель наш на телеге приехал: «Собирайтесь, девки, медали получать. «Куда же я, Арсентий, в эдакой обуви, - говорю. - Ты уж сам за меня получи». - «Нельзя, мол, эдак. Садись на телегу, мимо дома поедем, я тебе у своей Авдотьи сапожнишки возьму». До Красноярки доехали, Арсентий домой сбегал, вернулся ни с чем, Авдотья его, мол, куда-то ушла в сапожнишках. Может, взаправду, а может, пожалела их дать.

В Муромке к колхозной канторе подъехали, пока Арсентий коня к коновязи привязывал, я калоши свои на телеге сеном прикрыла, чтобы никто не позарился. Кантора маленькая, тесная, люди битком набились. Встала и я за народом. Журавлев, начальник с района, возле стола медали за военный труд раздает. Слышу мою фамилию называет. А я не иду. Еще раз называет, что, мол, нет ее здесь? «Да тут она, - Арсентий говорит, - стесняется выйти, босая...» Вытолкнули меня к столу, стою, глаза в пол. Журавлев мне на кофтенку медаль прицепил, руку жмет, а у самого слезы на глазах. «Ничего, Беспрозваннова, - говорит - войну пережили, теперь всё переживем...»

Непосильная работа не прошла даром. Осталась бездетной и замуж по молодости так и не вышла. Уже после того, как переехала в Семилужки, вышла замуж за вдовца с пятью детьми. В деревне судачили, взял Дуську в работницы. А хозяйство было немалое. Так что работала там тетя Дуся не меньше чем в колхозе. Да и характер у дяди Феди был крутой, ласковых слов она никогда от него не слышала. Бывало, придет к тете Марусе вечером, сядет на кухне в уголок на табуретку, сложит на коленях свои жилистые натруженные руки и молчит. Тетя Маруся вдохнет, глядя на нее,

да и скажет: «Бросай ты его, Дуся.» Ушла она уже, когда выросли дети и разлетелись кто куда. Уехала в Томск, устроилась уборщицей в интернате, там и жила в отведенной комнатухе. Повеселела, посветлела лицом. А тосковала по привычной жизни в деревне. Да и одиночество... Рассказывала: «Муха у меня всю зиму жила. Не трогала ее, пусть живет. Я одинока, и она одинока.»

Потом, когда умерла мать, вернулась в Семилужки и прожила там до самой смерти. Больше всего боялась оказаться в тягость родным, если сляжет. Тетя Маруся рассказывала, что каждое утро смотрела в окно на Дусину избушку, горит ли свет. А тут уже начало светать, а света всё нет. Побежала к дому. Дверь не на крючке, лежит Дуся на кровати и уже не дышит. Не успела никого намучить...



**В верхнем ряду: мама и папа
В нижнем ряду: Евдокия, Анна Васильевна и я
Мало-Муромка, 1954 год**

Мария

У тети Маруси, жизнь сложилась на первый взгляд посчастливей, но свой фунт лиха достался и ей.

Вспоминала: «Мужиков в поселке не стало, вся работа на бабах, все тяготы. К тому же еще и голод. Зерно из колхоза всё в хлебопоставки забирали, дома картошка в подполе кончилась. Новая еще не выросла. Сильно я в то лето исхудала и обессилела. Кофтенка у меня была с отложным воротничком, еще до войны куплена, так я ее у самого горла застегивала, стыдилась худобу свою показать. Как-то раз на покосе перед солнцезакатом последний прокос уже на коленках ползла, потом до стана тоже ползком. И никто не хватился – где Маруська. Куст смородиновый там рядом рос, уж какая на нем ягода была – крупная, сладкая... Бригадир сказал: «Не трожьте, девки, ягоду, когда покос выкосим, вместе брать

будем». Я не утерпела, сорвала ягодку. Так меня за это заставил два лишних прокоса пройти. Дуська тогда тоже на покосе была, пошли с ней вдвоем, сестра же...

Замуж я незадолго до войны вышла. За Михаила Корючина. Брат его, Иван, тоже в том году женился. Михаил был в колхозе кузнецом, Иван на разных работах, и я тоже на разных – куда бригадир назначит.

Когда война началась, Михаила и Ивана на фронт взяли, а через полгода пришли в дом две похоронные. Петя Шеховцов с ними в одной части был, когда домой после войны вернулся, рассказывал – на его глазах обоих братьев убило. Возле Михаила немецкая мина разорвалась. Иван к нему кинулся, а тут вторая... Анна Константиновна в то лето враз поседела.

Как никак бабы войну пережили, а сколько молодых мужиков сложили на ней головушки. Да и до войны мало чего радостного им довелось видеть. Хотя бы Михаилу, да и Ивану тоже. Сызмальства безутишно работали, а у обоих ни путней одежды, ни путней обуви не было. Когда перед самой войной жизнь, вроде, мало-мало стала налаживаться, и мы с Михаилом поженились, купили ему в сельпо осеннее пальто. Первое в жизни. А когда его на войну взяли, в моей фуфайке уехал, дескать, куда еду, там шинель выдадут. После того, как пришли похоронные, я у свекровушки недолго прожила, ушла обратно к мамоньке. Заоднова и то пальто забрала. Так у нас из-за него с Анной Константиновной раздор вышел. Просила она меня: «Принеси мне, Маруся, Мишино пальто, я хоть погляжу на него». А я не принесла, боялась, не отдаст, возьмет насовсем. Как-то после привиделось во сне, будто Михаил говорит мне: «Отнеси, Маруся, матери мое пальто». А я уже из него себе пальтишко перешла... Сколь времени прошло, уже и Анны Константиновны давно нет, и пальто то давно изношено, а корю себя – надо было отдать. Ведь она сыночка родила и вырастила, а со мной-то он и двух лет не прожил...

Если бы ни война, всё по-иному бы было. Когда наши мужики на фронт уходили, Иван своей Лизавете наказывал: «Ты, Лиза, меня жди, но, если не вернусь, выходи замуж». Михаил, когда со мной прощался, такого не сказал, наверное, не хотел о смерти думать. Лизавета через девять лет вышла замуж за ссыльного абхаза, а я и конца войны не дождалась, сошлась с Иваном Майбородой. На шестнадцать лет старше меня, неграмотный, два раза женатый, а пошла за него. Не по любви, боялась – буду одна век вековать. Прожили вместе больше тридцати лет - Иван да Марья. А расписались в сельсовете за три года до его смерти. Уже здесь, в Семилужках. Только я себе прежнюю фамилию оставила. В память о Михаиле.

Всяко мы с Иваном жили. И ругались, и обиды были, а когда не стало его, всё худое забылось. Жалел он меня... Лошадей любил. Бывало, увидит по телевизору кино, где верхом на конях скачут, заплачет. Слезливый стал к старости. Как-то сказал: «Давай, Марья, коня купим». Так разве я соглашусь? Корове сколько сена надо на зиму припасти, а тут еще конь. Ни в какую не согласилась. А ведь ему шибко хотелось. Теперь думаю – можно было коня взять, а сена бы купили... Какая Ивану радость была бы на старости лет, может, еще сколько-то лет прожил...»



**Муж Марии Иван Иванович, Мария, Анна Васильевна,
Евдокия. Мало-Муромка, конец 40-х годов**

В 50-х годах уехали из Мало-Муромки. Поселились под Томском в Семилужках. Жили сначала в старом скособоченном домишке, а потом купили хороший крепкий дом. Он и до сих пор прекрасно сохранился. Много лет проработала кастеляншей в детском доме. Когда ушла на пенсию, неустанно работала по дому и в огороде с раннего утра до позднего вечера. Когда не стало дяди Вани, приходилось и мужскую работу тянуть. Деревенский дом, как известно, требует постоянной заботы. И огород был на зависть всем соседям. Однажды подвыпивший сосед спросил ее: «Маруся, бабы говорят, что ты какое-то секретное слово знаешь. Почему у тебя так всё растет.» Она показала свои натруженные, почерневшие от солнца руки и сказала: «Беру тяпку и с утра в огород. Вот и весь секрет».

Дожила тетя Маруся до 90 лет.

Александра

«Мама самая младшая из сестер. И как бы тяжело не жили, осталось много светлых детских воспоминаний:

«Помню – старшие уйдут на работу, оставят мне маленькую каралечку хлеба на весь день. А я управлюсь в избе, голиком пол подмету, в огороде куженьку зелени нарву, чтобы вечером похлебку сварить... Скорей, скорей, чтобы управиться, пока во дворе не стало совсем жарко, и тогда быстрее к плетенному коробу, который зачем-то стоит в огороде. А из соседнего дома приходит уже тоже управившаяся к тому времени соседская Морька Шумова со своей испеченной с картошкой пополам колобашкой. Садимся на короб, начинаем качаться и есть. Иногда менялись – Морька мне свою колобашку отдаст, а я ей каралечку. Едим медленно, чтобы продлить удовольствие. У каждого в детстве свои радости, у меня та... Пол в избе почему-то любила по субботам мыть.

Прошу у мамы: «Мама, я буду пол мыть, ну мама...» Скажет в сердцах: «Мой, если так охота, только ладом». А пол осиновый, некрашенный...



**Мои родители
Мало-Муромка, 1951 год**

Ягоду в тайге брала. Одна себе, босиком... Неохота идти, ноги в занозах, в ссадинах, змей боюсь, а мама посылает. Приду из леса, скажет мне вечером: «Ты прямо как в пригоне полнехонько ведро почерпнула». В сельпо ягоды сдаст, мне материи на платьишко купит, чтобы осенью в школу идти.

Вспоминать обо всём страшном, тяжелом – не хочу. Зачем? Вспоминается иногда запах от корзины, наполненной брусничкой или грибами.. Крупные тёмно-красные ягоды, желтые грузди с

нальнувшими хвоинками, розовые волнушки, белянки, как пяточка... Вспоминается как что-то большое, важное в жизни...»

Малолетней девчонкой пасла телят. В конце лета босиком, в одном выношенном ситцевом платьишке. Сильно мерзла и, чтобы хоть как-то согреться, мочилась на босые, исколотые стерней ноги.

Во время войны вместе с другими девками и молодыми бабами работала на пихтовом заводе. Рубили в лесу лапник, вязанками таскали по пояс в снегу на завод. Там в огромных чанах лапник вываривали, гнали пихтовое масло для госпиталей. То, что оставалось в чанах выливали в снег. В 90-х годах вдруг обнаружили удивительные лечебные свойства этого отвара. Те, кто постарше, помнят его под названием Абисиб. Жили в бараке, спали вповалку на нарах. Там же сушили промокшую одежонку. Платили за работу по весу вязанки. Поэтому старались притащить побольше. Мама рассказывала, как однажды нагрузила на себя столько, что в глазах было темно. Взвесили, оказалось 70 килограммов. Сама она весила гораздо меньше. Бригадир только крикнул и сказал: «Молодец, Шурынька».

В конце мая 50-го года они с папой поженились. Добрались на катере до Среднего Васюгана, расписались в ЗАГСе и тут же вернулись обратно. Через год родилась я, а еще через четыре моя сестра Люба.

В 1960-м году переехали в Каргасок, куда папу пригласили на работу в районную газету. Прожили там три года. А в 1963 году папе предложили работу в Томске в областной газете «Красное знамя». Пообещали через полгода дать квартиру. Мы с мамой остались в Каргаске, но через три месяца всё-таки поехали в Томск. Поселили нас в гостиницу. Началась не самая радостная полоса в маминой жизни. Всякими правдами и неправдами умудрялась что-то готовить на крошечной электрической плитке. Не раз, когда запах пищи просачивался в коридор, приходил кто-нибудь из гостиничной администрации и грозился немедленно выселить. Да еще в этот год вдруг исчез из продажи хлеб. Вернее, серый хлеб в ограниченном количестве появлялся в булочных, но, чтобы его купить, надо было затемно занимать очередь. Хорошо еще, что сестры привозили из Семилужков какие-то продукты, которые и хранить-то было негде. Вот тогда-то с мамой случился первый инсульт. Строительство дома, где папе обещали квартиру, затягивалось. Предложили в другом доме тогда

практически на окраине Томска. И родители, не задумываясь, согласились. Сколько мамой было потрачено сил и времени, чтобы неуклюжую хрущевку превратить в чистое уютное жилище и это в условиях, когда мебель практически невозможно было купить, не говоря уже о какой-то элементарной бытовой технике. А сколько врожденного вкуса было у этой деревенской женщины, каким-то одним штрихом могла создать красоту.

В конце жизни мама тяжело болела. Не успевала оправиться от одной болячки, как тут же наваливалась новая, еще страшнее. Но до конца дней боролась за жизнь.

Клавдия

Тетя Клава самая старшая из сестер. В конце 50-х годов она уехала из Мало-Муромки в Кемеровскую область и жила там практически до конца жизни. Конечно, она приезжала иногда в гости, и мама с папой не один раз бывали у нее, но общения для меня было недостаточно, чтобы в моей

памяти что-то сохранилось.

Знаю, что она дважды была замужем, родила двух сыновей. У старшего жизнь сложилась достаточно благополучно, а младшего Юру судьба помотала. На какое-то время он куда-то пропадал, и никому не было известно, где он и что с ним. Появился так же неожиданно, как исчез. Работал шахтером. Женился, но как-то неудачно. Привез новую семью в Семилужки, прожил там года три, а потом вернулся обратно. Позднее вторично женился. На этот раз жена оказалась хозяйственная, с



**Клавдия, Александра, сестра Люба
Киселевск Кемеровской обл.,
1958 год**

крепким характером. И жизнь как-то наладилась. Несмотря ни на что он запомнился мне добрым и незлобивым. Тетя Клава к концу жизни тяжело заболела. Привезли её в Томск. Долго лечили, но ничего не помогло и в начале 80-х ее не стало. Покойтся на Семилуженском кладбище рядом с сестрами и матерью.

Моим родным досталась судьба, постигшая огромное количество людей. Но благодаря огромной воле к жизни, надежде на спасение и, конечно, непосильному труду, они выжили. Не озлобились, никогда не жаловались на жизнь, на мизерную пенсию, умели радоваться простым вещам и трудились не покладая рук до конца дней.

А во мне с годами всё растет какое-то чувство вины перед моими родными. Вины за то, что можно было быть внимательнее, отдавать больше тепла и заботы. Да просто подольше посидеть с ними, поговорить. А мы в своей повседневной суете и ежедневных заботах частенько забывали об этом. Не приходило в голову, что простое человеческое общение им было так важно, грело душу и придавало сил. Не забывайте своих близких...

О.Горшкалева